



О Всеволоде Илларионовиче Пудовкине

Валентин БЕРЕСТОВ



И вместе с Всеволодом Илларионовичем мы как бы прислушиваемся к чудесному эху, которое не просто подхватывает, но и углубляет сказанное.

Главное тут, по мнению Пудовкина, — это не упустить возможность самим звучанием стиха вызвать духоподъемное, вдохновенное состояние. Это умеет делать, например, Заболоцкий... Не успел Пудовкин назвать его имя, как еще не читанный Заболоцкий тут же вошел в число моих любимых поэтов.

И вот я впервые звоню в квартиру на Большой Пироговской неподалеку от Новодевичьего монастыря. Мне открыли, и в комнату из прихожей опрометью ринулся обнаженный человек. В дверном проеме качались гимнастические кольца. Пока я приходил в себя, передо мной появился спокойный элегантный хозяин дома. Невозможно было предположить, что это он только что голышом раскочивался на кольцах. Я был усажен в очень уютное голубовато-серое кресло. («Павловский стиль», — сообщил Пудовкин. «Суворов», — вспомнил я фильм моего довоенного детства). И я приготовился слушать.

«У Наташи Трауберг, — записал я себе в тетрадку, — я впервые его увидел, услышал и не успел сказать ни слова. Доказывая, воспроизводя что-нибудь, начиная свои уроки, он оперирует с воздухом, рождая волны, разрезая воздух линиями, вспышками, овалами. Иногда мысль отстает от жеста, иногда она вызывается движением руки. А промежутки заполняются чем-то упругим, шилучим («4-ч-черт!»)... Испытываешь огромное удовлетворение, понимая его, поспеивая за ним своими собственными мыслями».

Жаль, не записал ни замыслов фильмов, ни сказок, которые он рассказывал. Помню, в «Огоньке» он нашел снимок посмертной маски Бетховена и показывал его всем своим посетителям. И переводя взгляд на застывшее от волнения лицо Пудовкина, каждый понимал, кому играть главную роль в фильме о великом композиторе. Помню фразу из самого начала импровизированного сценария: «Утро. Парк. На дорожке плачет человеческий детеныш». И еще помню, что взгляды оскорбленного, мрачного Бетховена и обиженного малыша встретились и на обоих лицах волной прошло одно и то же выражение понимания и счастья.

Сказки показались мне слишком литературными. Словно Всеволод Илларионович не рассказывал их, а читал по книжке. Помню, как герой одной из них, упав с высоты, не просто ударился об землю, но «ощутил удар равного по силе соперника». О том, что сам Пудовкин в молодости, выполняя риско-

ванный кинотрюк, прыгнул с крыши высокого дома, а пожарники заехали, не успеве подставить сетку, — он мне не рассказывал. Я прочел об этом в книге А. Караганова...

Был поздний зимний вечер 1945 года. Разговоры наши часто затягивались. Я опаздывал на последний поезд. Меня оставили ночевать.

Пудовкину я читал собранные мной записки. Читал дневник, куда записывал вагонные разговоры, интересные встречи. Но есть страницы, которые я никогда не показывал Всеволоду Илларионовичу. Вот, например:

«3.III.45. У Пудовкиных. Его долго не было. Анна Николаевна каждой приятельнице сообщала по телефону о фильме «Крымская конференция». Все частные подробности о конференции известны в Москве тоже из киноисточников. Это чаще всего рассказы о том, как Сталин удивил Рузвельта и как американские повара с записными книжечками появились на русской кухне...»

Я хотел идти, но Анна Николаевна отговорила. Жду Пудовкина. Гаснет электричество. Красновато-синее пламя газа и свеча. На стене пейзаж Андрея Гончарова. Он по-разному живет в разных ощущениях, но впечатление внутреннего света, дороги, росы остается, может быть, навсегда.

Пудовкин о своей поездке в Финляндию. Она недавно вышла из войны против нас. Очень доволен. Сделал большое дело. «Много увидеть не смог. Нужно было показывать самого себя... Чтоб видели, нет, это культурный человек, и не просто культурный человек, а представитель культуры целого народа. Нас там очень мало знают. Годы непрерывной пропаганды против нас убили всякое живое представление о нашей стране. Мне задавали вопросы: «Правда ли, у вас нет семьи, а детей отбирают у родителей и отдают в приют?» Или: «Какие должности МОЖЕТ занимать в России женщина?» И это спрашивала девушка, сочувствующая нам. Многие боются, фальшивят. Но молодежь там хороша. Эти жадные глаза, руки, волосы, — вся аудитория слушает».

Пудовкин говорил о производстве материальных ценностей, где уже возникли какие-то новые отношения между людьми. А в производстве духовных ценностей разве что в зачаточном состоянии научные содружества. Это основная мысль Пудовкина за последнее время: дружба между людьми, ее будущее.

Многих мыслей Пудовкина я не запомнил и не старался запоминать, они входят в меня и кажутся, что они жили во мне до него. При свете свечей был ужин. Потом мне постелили в той же комнате, и я как-то светло и радостно уснул».

Пейзаж Гончарова с соснами и с бликами света на лесной дорожке я и вправду запомнил навсегда. Еще были, не помню, чьей работы, большой шаржированный портрет Пудовкина, синяя фаянсовая статуэтка городского с надписью на постаменте: «Вашу мать!». Были научные журналы: физические, математические с пометками Пудовкина, например «ха-ха!», рядом с непостижимыми для меня формулами. Пудовкин был по образованию физический химик.

За один вечер я мог узнать у него и про статью Вернадского о Гёте, и про то, что человек стал теперь геологической силой, и что над биосферой возникает уже ноосфера — сфера разума, и про «Хатха-йогу», откуда принялся делать выписки, и про то, что у русской литературы есть одно удивительное свойство: рядом с сюжетом, а то и вместо сюжета идет движение времен года, народной жизни, и что ничего подобного «Степи» Чехова, пушкинскому «Онегину», «Повинку» Куприна и, конечно, «Войне и миру» нет у других народов, но не потому, что эти шедевры превосходят созданное англичанами, французами, индийцами, китайцами, а потому, что и мы внесли в мировое искусство что-то свое, небывалое, как, впрочем, и любой другой народ. Особенно его поражали перепады, переходы чувства от печали к радости и наоборот. Он засыпал с «Онегиным» под подушкой и наутро, выйдя к столу, бормотал какие-то стихотворные обрывки в «онегинском» ключе. Например: «Как утверждает Блок несчастный...». Тут и что-то веселое, и трагическая фигура Блока. Потом, занимаясь Пушкиным, я нашел у него в наброске плана неосуществленной статьи о русских песнях пункт «лестница чувств» и сразу же представил себе, что имел в виду Пушкин и о чем мне когда-то говорил Пудовкин. В его кинематографический монтаж, конечно же, входит эта самая «лестница чувств», или русская форма, как ее уже в применении к Бунину и Чехову назвал Твардовский. Иностранцы чувствуют ее. «Вэри рашн (очень русское)», — сказал мне в Дублине архитектор Десмонд Фитцджеральд не о русской экзотике, а о музыке Мусоргского и Шостаковича, о Чехове и фильме Хейфица «Дама с собачкой». «Вэри рашн» — так, наверное, могли сказать и о «Матери» Пудовкина.

Но вернемся к записям 1945 года.

«4.III.45. Несколько раз просыпался по привычке. Но снова засыпал. У киноработников установился такой быт: до поздней ночи съемки и спать допоздна. Пудовкин долго плескался, умывался. Делал в соседней комнате зарядку. Вошел он бодрый, свежий. Заговорил о книгах, которые у него пропадают: «Но как же я буду записывать их на замок, когда я сам всегда говорю о доверии? Да только подумать: запираешь, запираешь и помрешь. Нет, надо иметь доверие и к таким вещам, как ветер, мороз, солнце. Не нужно бегать от медведя. Надо с полным доверием подойти к нему, и будет черт знает как интересно узнать его медвежий секрет, идти с ним».

Ровно через год, когда я учился уже в десятом, Пудовкин пригласил меня и себе на все весенние каникулы. Ночь на первое апреля. На столике бурильник. Нужно встать так, чтобы успеть на первый поезд, не опоздать в школу. Завтра же — день моего рождения. Меня уложили пораньше, чтобы выспался. Но в первом часу за-

жегся свет, и в дверь вошла Анна Николаевна с подносом и Всеволод Илларионович с толстой малиновой книгой, которую он тоже держал, как поднос. На подносе были три чашечки кофе, бутылка кагора и печенье. Книга оказалась подарочным изданием «Ада» Данте. Я раскрыл ее и прочитал надпись:

«Дорогой Валя!

Эта книга имеет очень торжественный вид. В моей жалкой библиотеке она единственная такого рода. Позвольте мне преподнести ее Вам в торжественный день Вашего семнадцатилетия.

1. IV. 1946.

В. Пудовкин
(Имейте в виду, что 18 — великолепное число)».

Потом более года нет записей о Пудовкине. Я потерял записную книжку, спрыгнув с платформы, когда товарный поезд проскочил мимо моей станции. А были замечательные встречи. Он привел меня в студию в день окончания первого варианта «Адмирала Нахимова». Он очень радовался, что в сценарии, где топят флот, чтобы враг не вошел в Севастополь с моря, удалось снять птицу, пролетающую над мачтами тонущих кораблей.

Записывалось последнее бивне сердца Нахимова. Барабанщику никак не удавалось передать ужас и торжественность того, как сбивается, обрывается ритм, прошедший через всю жизнь человека. Пудовкин кидается к барабану, бьет по нему. Фильм окончен.

Он был режиссером во всем, каждую минуту.

Советы его иногда были похожи на указания режиссера актеру, но только давались они не для одной сцены, а на всю жизнь:

— Избегайте отрицательных эмоций. Страхивайте их с себя, как хороший конь страхивает слепней: для этого он морщит кожу и вновь ее расправляет.

О поэтических словах в прозе:

— Они здесь, как алгебраический двучлен, который необходимо раскрыть. Проза — другая стихия. Не бойтесь многословия. В прозе есть опасность расплыться. И есть опасность писать такими прекрасными словами, как «алтарь», «дивный», «мраморный». И тут получается Вербицкая: «Он стал бледным, как мрамор, только глаза его дивно сверкали». Какие слова! Пушкинские! А что вышло?

22 июля 1946 года. В этот день, став студентом исторического факультета МГУ, я переехал в Москву. В столь торжественный день я решил зайти к Пудовкину. Он уже работал над фильмом «Жуковский».

Назавтра я пришел к Пудовкину после физического парада на «Динамо», который мне очень понравился. Первый день, когда я стал настоящим москвичом.

Легендарный Пудовкин... «Мать», «Потомок Чингисхана», «Конец Санкт-Петербурга», «Адмирал Нахимов», «Возвращение Василия Бортникова»... — целая эпоха не только советского, но мирового кино. И вот такой человек, как Всеволод Илларионович Пудовкин, имел в числе своих друзей одного замечательного юношу, еще мальчика, и общался с ним как с равным!

Удивительно? Нисколько. Конечно же, Пудовкин не мог не знать, каким поэтом, каким переводчиком, каким исследователем литературной классики станет его молодой друг Валентин Берестов. Валентин Дмитриевич написал теперь о Пудовкине воспоминания. Воспоминания? Да, ведь здесь и дневниковые записи, то есть документы. А строки мемуарные больше похожи на стихи своим страстным чувством удивления, благодарности и любви, да к тому же, несмотря на солидный объем, эти строки очень кратки, очень емки: проза поэта. Современный молодой зритель мало знает великого кинорежиссера Всеволода Пудовкина. Как и Сергей Эйзенштейн, Пудовкин стал просто золотой страницей в истории советской культуры. Так пусть оживет стоящий за нею ни на кого не похожий человек — гражданин и философ, фантаст и правдоискатель, сказочник и творец высочайших созданий реализма.

Александра ПИСТУНОВА

В КОНЦЕ войны выдающийся кинорежиссер задумал снять фильм о современной молодежи. А мне как раз исполнилось 16 лет, я перешел в девятый класс, жил в подмосковном интернате, работал в поле и на огороде, собирал частушки, писал стихи и третий год ждал писем от отца-фронтовика, веря, что он жив. Почти каждую неделю я ездил в Москву и там попадал в совершенно другой мир.

Летом 1944 года в номере гостиницы «Москва», где остановился Л. З. Трауберг с семьей, мы с Наташей Трауберг читали наизусть любимых поэтов, поражаясь совпадению наших вкусов, и с тринадцатого этажа глядели на Москву. На асфальте Манежной площади еще были нарисованы углы крыш, уходящие куда-то вглубь: камуфляж, который должен был ввести в заблуждение фашистских летчиков.

Вдруг в номер кто-то вбежал. И вот перед нами очень загорелый и очень счастливый человек в белой рубашке с засученными рукавами. Глаза его блестят и шуршат.

— Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед, — громогласно приветствует он нас с Наташей. — Вам радостно! — восклицает он. — Стихи переводят вас в совершенно особое физическое состояние! От этих открытий «и-а-о-а-у» ваша грудная клетка расширяется! Вам легко дышится! Вы абсолютно счастливы! Но попробуйте после этого произнести: «Мысль изреченная есть ложь». И вы уже в ином физическом состоянии. Вам больно! Вас давит вот здесь! — вошедший мученически скорчился и обеими руками схватился за диафрагму.

Пудовкин знал, что у Траубергов встретит начинающего стихотворца, и уже в пути начал мысленно разговаривать со мной о самом главном. Самым главным он в тот летний день считал способность поэзии управлять не только чувством, но и физическим состоянием человека. Многие не думают об этом. Но Пушкин думал. И Тютчев думал.

— Слышите? — ликовал Пудовкин. — У Тютчева не только звук, но и эхо. «О, как на склонах наших лет, — начинается он, — нежней мы любим...» А эхо подхватывает: «И суеверной...»